

III. ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

1873

I

ВСТУПЛЕНИЕ

(...) У нас говорить с другими — наука, то есть с первого взгляда, пожалуй, так же, как и в Китае; как и там, есть несколько очень упрощенных и чисто научных приемов. Прежде, например, слова «я ничего не понимаю» означали только глупость произносящего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве» — и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.

Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя: «Да уж не я ли это глуп в самом деле?» Положение вседовольное, и, однако же, никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром; но даром-то еще дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. (...)

Правда и то: если никто не хочет задумываться, то, казалось бы, тем легче русскому литератору. Да, легче действительно; и горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается. Еще горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать; но еще горше тому, который объявит об этом искренно; а если заявит, что уже капельку понял и желает высказать свою мысль, то немедленно всеми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человечка, или даже нанять его, и только с ним

одним и разговаривать; может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это все равно что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. (...)

(...) Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать, с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же оппоненты бывают различные: не со всяким можно начать разговор. Расскажу одну басню, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского происхождения, что весьма утешительно.

Однажды свинья поспорила со львом и вызвала его на дуэль. Воротясь домой, одумалась и струсила. Собралось все стадо, подумали и решили так:

— Видишь, свинья, тут у нас поблизости есть одна яма; поди вывалийся в ней хорошенко и явись так на место. Увидишь.

Свинья так и сделала. Лев пришел, понюхал, поморщился и пошел прочь. Долго еще потом свинья хвалилась, что лев струсили и убежал с поля битвы.

Вот басня. Конечно, львов у нас нет,— не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким каждый обязан быть, и нравоучение выйдет то же самое.

Кстати, расскажу еще присказку.

Однажды, разговаривая с покойным Герценом¹, я очень хвалил ему одно его сочинение — «С того берега». Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин² в своей превосходной и любопытнейшей статье о свидании его за границей с Герценом. Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

— И мне особенно нравится,— заметил я между прочим,— что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене.

— Да ведь в том-то и вся штука,— засмеялся Герцен.— Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.» (Вошла в собрание его сочинений.) В этой

статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоше. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

— Ну что, как ты думаешь?

— Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дураком свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь, что есть мочи:

— Зарезал! Зарезал!³

II

СТАРЫЕ ЛЮДИ

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще, бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, *gentilhomme russe et citoyen du monde** прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтораста лет предыдущей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они естественно потеряли и бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные — индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веря в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицатель-

* русский дворянин и гражданин мира (франц.).

но, воображая вместо него какой-то идеальный народ,— каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектёр. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был — писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описано в своих записках); страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посыпал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, свое возвзвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим возвзванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслыханною признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием,— всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и с ее идеалами. Белинский, напротив,— Белинский был вовсе не *gentilhomme*,— о нет. (Он бог знает от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем.)

Белинский был по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззастенчиво восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях);

но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я никак не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. А в этом многое для меня знаменательного,— именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое», то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего цени разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему — начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицают им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которой всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан¹, провозгласивший в своей полной безверия

книге «vie du Jésus»*, что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

— Да знаете ли вы,— взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне,— знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

— Мне даже умилительно смотреть на него,— прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня,— каждый-то раз, когда я вот так помню Христа, у него все лицо изменяется, точно заплашать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек,— набросился он опять на меня,— поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; как и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-е-т! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) — Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

— Ну да, ну да,— вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский.— Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда все французы: прежде всех Жорж Занд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон, тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье уже далеко не так уважался. Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся,— Фейербах. (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному ино-

* «Жизнь Иисуса» (франц.).

странныму языку, произносил: Фиербах.) О Штраусе² говорилось с благоговением.

При такой теплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству³. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы маленьkim и восторженным старичком с прежнею теплою верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой т-те Гёгг, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода,— не от сомнений, не от разочарований, о нет,— а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходит гулять и идет домой.

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорогою:

— А вот как зароют в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял все учение его. Еще год спустя, в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалий, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили всё: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем неповинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли всё, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позво-

ленная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений, а стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастными», и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было и что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский, и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастные», в этом приговоре народа звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться... Тогда именно об этом хотелось бы поговорить.

III СРЕДА

(...) Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много, как бы слипших с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются,— до тех пор только и может жить сильнейшую живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих скрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких скрытых в русском народе идей — идей русского народа — и принадлежит название преступления несчастием, преступников — несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но *временно* — может быть иначе.

Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастным»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте — может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берите, «несчастные», грехи наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей».

Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы — сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе». (...)

Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба — вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастии преступника русский народ.

IV

НЕЧТО ЛИЧНОЕ

Меня несколько раз вызывали написать мои литературные воспоминания. Не знаю, напишу ли, да и память слаба. Да и грустно вспоминать; я вообще не люблю вспоминать. Но некоторые эпизоды моего литературного поприща мне поневоле представляются с чрезвычайной отчетливостью, несмотря на слабую память. Вот, например, один анекдот.

Раз весной поутру я зашел к покойному Егору Петровичу Ковалевскому. Ему очень нравился мой роман «Преступление и наказание», появившийся тогда в «Русском вестнике». Он с жаром хвалил его и передал мне один драгоценный для меня отзыв одного лица, имени которого не могу выставить. Тем временем в комнату вошли один за другим два издате-

ля двух журналов. Один из этих журналов приобрел впоследствии небывалое доселе ни у одного из наших ежемесячных изданий число подписчиков, но тогда только лишь начинался. Другой, напротив, уже оканчивал замечательное и влиятельное на литературу и публику существование свое; но тогда, в то утро, его издатель еще не знал, что издание его уже так близко к своему берегу. Вот с этим-то издателем мы вышли в другую комнату и остались наедине.

Не называя его имени, скажу лишь, что первая встреча моя с ним в жизни была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная. Может, помнит и он. Тогда еще он не был издателем. Потом произошли многие недоразумения. По возвращении моем из Сибири мы очень редко встречались, но раз мельком он сказал мне чрезвычайно теплое слово и по одному поводу указал на одни стихи — лучшие, что он написал когда-либо. Прибавлю, что видом и обычаем никто менее его не походил на поэта, да еще из «страдающих». А между тем он один из самых страшных, мрачных и «страдающих» наших поэтов.

— Ну, вот мы вас обругали, — сказал он мне (то есть в его журнале за «Преступление и наказание»).

— Знаю, — сказал я.

— А знаете, почему?

— По принципу, должно быть.

— За Чернышевского.

Я осталбенел от удивления:

— NN, который написал критическую статью, — продолжал издатель, — сказал мне так: «Роман его хороший, но так как он в своей повести, два года назад, не постыдился надругаться над несчастным ссылочным и окарикатурить его, то я его роман обругаю».

— Так это все та же глупая сплетня о «Крокодиле?» — вскричал я, сообразив. — Да неужто и вы верите? Читали вы эту мою повесть сами, «Крокодила»?

— Нет, не читал.

— Да ведь все это сплетня, самая пошлайшая сплетня, какая только может случиться. Ведь нужно иметь ум и поэтическое чутье Булгарина, чтобы в этой безделке, повести для смеху, прочитать между строк такую «гражданскую» аллегорию, да еще на Чернышевского! Если б вы знали, как глупа такая натяжка! Никогда, впрочем, не прощу себе, что два года назад не протестовал против этой подлой клеветы, когда только что ее выпустили!

Этот разговор мой с издателем уже давно угаснувшего теперь журнала происходил лет семь тому назад, и вот я до сих пор еще не протестовал против «клеветы» — то пренебрегал, то «не было времени». Между тем эта низость, мне приписываемая, так и осталась в воспоминаниях иных особ несомненным фактом, имела ход в литературных кружках, проникла и в публику и уже не раз приносила мне неприятности. Пора сказать обо всем этом хоть одно слово, тем более что оно теперь кстати, и хотя голословно, но опровергнуть клевету, впрочем тоже в высшей степени голословную. Долгим молчанием моим и небрежностью я до сих пор как бы подтверждал ее.

С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году, в первый же год по возвращении моем из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень нечасто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвел на него неприятное впечатление, то есть наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились.

Однажды утром я нашел у дверей моей квартиры, на ручке замка, одну из самых замечательных прокламаций изо всех, которые тогда появлялись; а появлялось их тогда довольно. Она называлась «К молодому поколению». Ничего нельзя было представить нелепее и глупее. Содержания возмутительного, в самой смешной форме, какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же зарезать. Мне ужасно стало досадно и было грустно весь день. Все это было тогда еще внове и до того вблизи, что даже и в этих людей вполне всмотреться было тогда еще трудно. Трудно именно потому, что как-то не верилось, чтобы под всей этой сумятицей скрывался такой пустяк. Я не про движение тогдашнее говорю, в его целом, а говорю только про людей. Что до движения, то это было тяжелое, болезненное, но роковое своею историческою последовательностию явление, которое будет иметь свою серьезную страницу в петербургском периоде нашей истории. Да и страница эта, кажется, еще далеко не дописана.

И вот мне, давно уже душой и сердцем не согласному ни с этими людьми, ни со смыслом их движения,— мне вдруг тогда стало досадно и почти как бы стыдно за их неумелость: «Зачем у них это так глупо и неумело выходит?» И какое мне было до этого дело? Но я жалел не о неудаче их. Собственно разбрасывателей прокламаций я не

знал ни единого, не знаю и до сих пор; но тем-то и грустно было, что явление это представлялось мне не единственным, не глупенькою проделкой таких-то вот именно лиц, до которых нет дела. Тут подавлял один факт: уровень образования, развития и хоть какого-нибудь понимания действительности, подавлял ужасно. Несмотря на то что я уже три года жил в Петербурге и присматривался к иным явлениям,— эта прокламация в то утро как бы ошеломила меня, явилась для меня совсем как бы новым неожиданным откровением: никогда до этого дня не предполагал я такого ничтожества! Пугала именно степень этого ничтожества. Пред вечером мне вдруг вздумалось отправиться к Чернышевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал бывать, равно как и он у меня.

Я вспоминаю, что это было часов в пять пополудни. Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет.

— Николай Гаврилович, что это такое? — вынул я прокламацию.

Он взял ее как совсем незнакомую ему вещь и прочел. Было всего строк десять.

— Ну, что же? — спросил он с легкой улыбкой.

— Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?

Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:

— Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумагки?

— Именно не предполагал, — отвечал я, — и даже считаю ненужным вас в том уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и, уж конечно, они боятся вашего мнения.

— Я никого из них не знаю.

— Уверен и в этом. Но все и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них.

— Может, и не произведет действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны.

— И, однако, всем и всему вредят.

Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно и вполне верил, как верю и теперь, что он не был «солидарен» с этими разбрасывателями. Мне показалось, что Николаю

Гавриловичу не неприятно было мое посещение; через несколько дней он подтвердил это, заехав ко мне сам. Он просидел у меня с час, и, признаюсь, я редко встречал более мягкого и радушного человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жестком и необщительном. Мне стало ясно, что он хочет со мною познакомиться, и, помню, мне было это приятно. Потом я был у него еще раз, и он у меня тоже. Вскоре по некоторым моим обстоятельствам я переселился в Москву и прожил в ней месяцев девять. Начавшееся знакомство, таким образом, прекратилось. Засим произошел арест Чернышевского и его ссылка. Никогда ничего не мог я узнать о его деле; не знаю и до сих пор.

Года полтора спустя мне вздумалось написать одну фантастическую сказку¹, вроде подражания повести Гоголя «Нос». Никогда еще не пробовал я писать в фантастическом роде. Это была чисто литературная шалость, единственno для смеху. Представилось, действительно, несколько комических положений, которые мне захотелось развить. Хоть и не стоит того, но расскажу сюжет, чтобы понятно было, что потом из него вывели. Тогда в Петербурге в Пассаже какой-то немец показывал за деньги крокодила. Один петербургский чиновник, пред поездкой за границу, отправляется с своей молодой женой и с неотлучным другом своим в Пассаж, и между прочим все заходят посмотреть крокодила. Чиновник этот — среднего круга, но из тех, которые имеют некоторое независимое состояние, еще молодой, но заеденный самолюбием; прежде всего дурак, как и незабвенный майор Ковалев, потерявший свой нос. Он комически уверен в своих великих достоинствах; полуобразован, но считает себя чуть не за гения, почитается в своем департаменте за человека пустейшего и постоянно обижен всеобщим к нему невниманием. Как бы в отместку за это муштрует и тиранизирует своего бесхарактерного друга, величаясь над ним своим умом. Друг ненавидит его, но переносит все потому, что втайне ему нравится его жена. В Пассаже, пока эта дамочка, молоденькая и хорошенская, чисто петербургского типа, глупенькая кокетка среднего круга, засмотрелась на показывавшихся вместе с крокодилом обезьян, гениальный супруг ее как-то раздразнил доселе сонного и лежавшего как колода крокодила: тот вдруг разевает пасть и проглатывает его целиком, без остатку. Вскоре оказывается, что великий человек не потерпел от того ни малейшего повреждения; напротив, по свойственному ему упрямству объявил из крокодила, что ему очень хорошо в нем сидеть. Друг и жена удаляются

хлопотать по начальству о его освобождении. Для этого представлялось совершенно необходимым убить крокодила, взрезать его и освободить великого человека; но притом, конечно, следовало вознаградить за крокодила немца-хозяина и его неразлучную муттер. Немец сначала в негодовании и отчаянии из боязни, что его крокодил, проглативший «ганц чиновник», может умереть; но скоро догадывается, что проглоченный член петербургской администрации и оставшийся притом в живых может доставить ему впредь чрезвычайный сбор во всей Европе. Он требует за крокодила огромную сумму и, сверх того, чин русского полковника. С другой стороны, начальство приходит в немалое затруднение, что слишком уж новый по министерству случай и что подобных примеров до сих пор не бывало. «Если бы нам хоть какой-нибудь подобный примерчик прежде, то можно бы действовать, а то затруднительно». Подозревает тоже, что чиновник залез в крокодила вследствие каких-нибудь запрещенных, либеральных тенденций. Супруга между тем стала находить, что положение ее «вроде как бы вдовы» не лишено интереса. Проглоченный супруг ее между тем объявляет своему другу окончательно, что ему несравненно лучше оставаться в крокодиле, чем на службе, ибо теперь он уже поневоле обратит на себя внимание, чего никогда прежде не мог добиться. Он настаивает, чтобы жена его завела вечера и чтобы на эти вечера его приносили вместе с крокодилом в ящике. Он уверен, что на вечера эти бросится весь Петербург и все государственные сановники — смотреть новый феномен. Тут-то он и намерен выиграть: «Буду изрекать правду и учить; государственному мужу подам совет, пред министром выкажу способности», — говорит он, считая себя как бы уже не от мира сего и уже вправе давать советы и изрекать приговоры. На осторожный, но ядовитый вопрос друга: «А ну как если он неожиданным каким-нибудь процессом, которого, впрочем, следует ожидать, переварится во что-нибудь такое, чего не ожидает?», — великий человек отвечает, что уже думал об этом; но с негодованием будет сопротивляться этому весьма возможному по законам природы явлению. Супруга, однако же, не соглашается давать вечера с такою целью, хотя ей и нравится мысль о них: «Как же это моего мужа будут приносить ко мне в ящике?» — говорит она. К тому же и положение как бы вдовы ей все более и более нравится. Она входит во вкус; в ней берут участие. К ней ездит начальник ее мужа и играет с ней в свои козыри... Вот первая часть этого шутовского рассказа — он недокончен. Когда-ни-

будь непременно докончу, хоть я уже и забыл о нем и теперь должен был перечитать, чтоб припомнить.

Вот что, однако же, сделали из этой маленькой вещицы. Едва только рассказ появился в журнале «Эпоха» (в 1865 г.), как вдруг «Голос» в фельетоне сделал странную заметку. Не помню буквально, да и слишком далеко спряталась, но смысл был вроде того: «Напрасно, дескать, автор «Крокодила» вступает на такой путь; это не принесет ему ни чести, ни ожидаемой выгоды» и проч. и проч. Затем несколько самых туманных и неприязненных колкостей. Я прочел мельком, ничего не понял, видел только, что много яду, но не знал за что. Этот туманный фельетонный отзыв сам по себе, разумеется, не мог повредить мне; из читателей все равно никто бы его не понял, так же как и я; но вдруг неделю спустя Н. Н. С(тражов) сказал мне: «Знаете, что там думают? Там уверены, что ваш «Крокодил» — аллегория, история ссылки Чернышевского, и что вы хотели выставить и осмеять Чернышевского». Я хоть и удивился, но не очень обеспокоился; мало ли каких не бывает догадок? Мнение это показалось мне слишком единичным и натянутым, чтоб оно возымело ход, и я почел совершенно ненужным протестовать. Никогда не прощу себе этого, ибо мнение укрепилось и возымело ход. *Calompiez, il en restera toujours quelque chose**.

Я, впрочем, убежден и теперь, что тут вовсе и не было клеветы, — да и за что, для чего? Я почти ни с кем в литературе не поссорился, по крайней мере очень не ссорился. Теперь, в эту минуту, я всего во второй раз, в двадцать семь лет моей литературной деятельности, говорю о себе лично. Просто тут была тупость, угрюмая, мнительная тупость, засевшая в какую-нибудь голову «с направлением». Я убежден, что эта многодумная голова совершенно уверена до сих пор, что не ошиблась и что я непременно глумился над несчастным Чернышевским. Убежден даже, что никакими объяснениями и извинениями не изменю взгляда ее в свою пользу даже и теперь. Но ведь зато она и многодумная голова. (Я, разумеется, не об Андрее Александровиче говорю; в качестве редактора и издателя своей газеты, он тут, как и всегда, в стороне.)

В чем же аллегория? Ну конечно — крокодил изображает собою Сибирь; самонадеянный и легкомысленный чиновник — Чернышевского. Он попал в крокодила и все еще питает надежду поучать весь мир. Бесхарактерный друг его, которого

* Клевещите, всегда что-нибудь да останется (франц.).

он деспотирует, это все здешние друзья Чернышевского. Хорошенькая, но глупенькая жена чиновника, радующаяся своему положению «как бы вдовы», это... Но тут уже так грязно, что я не хочу моряться и продолжать разъяснение аллегории. (А между тем ведь она укрепилась, и именно, может быть, последний-то намек и укрепился; я имею несомненные доказательства.)

Значит, предположим, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого «несчастного»; мало того — написал на этот случай радостный пашквиль. Но где же тому доказательства; в аллегории? Но принесите мне что хотите... «Записки сумасшедшего», оду «Бог», «Юрия Милославского», стихи Фета — что хотите — и я берусь вам вывести тотчас же из первых десяти строк, вами указанных, что тут именно аллегория о франко-пруссской войне или пашквиль на актера Горбунова, одним словом, на кого угодно, на кого прикажете. Вспомните, как в старину, в самом конце сороковых годов, например, цензора рассматривали рукописи и транспаранты: не было строчки, не было точки, в которых бы не подозревалось чего-нибудь, какой-нибудь аллегории. Пусть лучше представят хоть что-нибудь из всей моей жизни для доказательства, что я похож на злого, бессердечного пашквиля и что от меня можно ожидать таких аллегорий.

Именно поспешность и торопливость подобных бездоказательных выводов и свидетельствует, напротив, о некоторой низменности духа самих обвинителей, о грубости и негуманности взгляда их. Тут даже самое простодушные догадки не извинительно; что ж? Можно быть и простодушно низменным, и только.

Может быть, я ненавидел Чернышевского лично? Чтобы предупредить это обвинение, я нарочно рассказал выше о нашем кратком и радушном знакомстве. Скажут — этого мало и что я питал затаенную ненависть. Но пусть же выставят и предлоги к этой ненависти, если имеют что выставить. Их не было. С другой стороны, я убежден, что сам Чернышевский подтвердит точность моего рассказа о нашей встрече, если когда-нибудь прочтет его. И дай бог, чтобы он получил возможность это сделать. Я так же тепло и горячо желаю того, как искренно сожалел и сожалею о его несчастии.

Но ненависть из-за убеждений, быть может?

Почему же? Чернышевский никогда не обижал меня своими убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним в мнениях радикально. Тут, впрочем, я могу говорить не совсем голословно и имею даже маленькое дока-

зательство. В одном из самых последних №№ прекратившегося в то время журнала «Эпоха» (чуть ли не в самом последнем) была помещена большая критическая статья о «известном» романе Чернышевского «Что делать?»². Эта статья замечательная и принадлежит известному меру. И что же? В ней именно отдается все должное уму и таланту Чернышевского. Собственно об романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьезность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора. Теперь согласитесь: если бы была во мне ненависть из-за убеждений, я бы, конечно, не допустил в журнале статьи, в которой говорилось о Чернышевском с надлежащим уважением; на самом деле ведь я был редактором «Эпохи», а не кто другой.

Может быть, я, печатая ядовитую аллегорию, надеялся выиграть где-нибудь *en haut lieu?** Но когда и кто может сказать про меня, что я заигрывал или выигрывал в этом смысле в каком-нибудь *lieu*, то есть продавал свое перо. Я думаю даже, что сам автор догадки не имел такой мысли, несмотря на все свое простодушие. Да и не укрепилась бы она ни за что в литературном мире, если бы только в этом состояло обвинение.

Что же касается до возможности обвинения в пашквильной аллегории насчет иных каких-нибудь домашних обстоятельств Николая Гавриловича, то опять-таки повторю, что не хочу даже и прикасаться с этой точки к моему «оправданию», чтобы не вымараться...

Мне очень досадно, что на этот раз я заговорил о себе. Вот что значит писать литературные воспоминания; никогда не напишу их. (...)

VII «СМЯТЕННЫЙ ВИД»

Я кое-что прочел из текущей литературы и чувствую, что «Гражданин» обязан упомянуть о ней на своих страницах. Но — какой я критик? Я действительно хотел было писать

* в высших сферах (франц.).

критическую статью, но, кажется, я могу сказать кое-что лишь «по поводу». Всего я прочел: «Запечатленного ангела» г-на Лескова, поэму Некрасова и статью г-на Щедрина¹. Прочел я тоже статьи г-д Скабичевского и Н. М. в «Отечественных записках»². Обе эти статьи в некотором смысле были для меня как бы новым откровением; когда-нибудь непременно надо поговорить о них. А теперь начну с начала, то есть в том порядке, как читал, именно с «Запечатленного ангела».

Это рассказ г-на Лескова в «Русском вестнике». Известно, что сочинение это многим понравилось здесь в Петербурге и что очень многие его прочли. Действительно, оно того стоит: и характерно, и занимательно! Это повесть, рассказанная одним бывшим раскольником на станции в рождественскую ночь, о том, как все они, раскольники, человек сто пятьдесят, целою артелью перешли в православие вследствие чуда. (...)

Чудо так поразило раскольников, что они всею артелью, сто пятьдесят или около человек, перешли в православие.

Но тут автор не удержался и кончил повесть довольно неловко. (...) Он, кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам, и поспешил разъяснить чудо. Сам же рассказчик, то есть мужичок, бывший раскольник, «весело» у него сознается, что на другой день после их обращения в православие доискались, почему распечатлелся ангел. Англичанка не осмелилась закапать лик, хотя и не освященной иконы, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада. В дороге бумажка, конечно, соскользнула, и ангел распечатлелся. Таким образом, отчасти и непонятно, почему раскольники остались в православии, несмотря на разъяснение чуда? (...)

(...) повесть г-на Лескова оставила во мне впечатление болезненное и некоторое недоверие к правде описанного. Она, конечно, отлично рассказана и заслуживает многих похвал, но вопрос: неужели это все правда? Неужели это все у нас могло произойти? То-то и есть, что рассказ, говорят, основан на действительном факте. Вообразим только такой случай: положим, где-нибудь, теперь, в какой-нибудь православной церкви, находится древняя чудотворная икона, повсеместно чтимая всем православием. Представим, что какая-нибудь артель раскольников целым скопом выкрадывает эту икону из собора, собственно чтобы иметь эту древнюю святыню у себя, в своей моленной. Все это, конечно, могло бы случиться. Представим, что лет через десять какой-нибудь чиновник находит эту икону, торгуется с раскольниками, чтобы добыть знатную взятку; они такой суммы дать не в силах, и вот он берет

сургуч и капает его на лик святыни с приложением казенной печати. Неужели оттого только, что икона побыла некоторое время в руках раскольников, она потеряла свою святыню? Ведь и икона «Ангела», о которой рассказывает г-н Лесков, была древлеосвященою православною иконою, чтимою до раскола всем православием? И неужели при сем местный архиерей не мог и не имел бы права поднять хоть палец в защиту святыни, а лишь с вздоханием проговорил: «Смятенный вид». Мои *тревожные* вопросы могут показаться нашим образованным людям мелкими и предрассудочными; но я того убеждения, что оскорбление народного чувства во всем, что для него есть святого, есть страшное насилие и чрезвычайная бесчеловечность. <...>

IX ПО ПОВОДУ ВЫСТАВКИ

Я заходил на выставку. На венскую всемирную выставку отправляется довольно много картин наших русских художников. Это уже не в первый раз, и русских современных художников начинают знать в Европе. Но все-таки приходит на мысль: возможно ли там понять наших художников и с какой точки зрения их там будут ценить? По-моему, переведите комедию г-на Островского,— ну «Свои люди сочтемся», или даже любую, и переведите по возможности лучше, на немецкий или французский язык, и поставьте где-нибудь на европейской сцене,— и я, право, не знаю, что выйдет. Что-нибудь, конечно, поймут и, кто знает, может быть, даже найдут некоторое удовольствие, но, по крайней мере, три четверти комедии останутся совершенно недоступны европейскому пониманию. Я помню, в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие, что г-н Виардо (муж знаменитой певицы, певшей у нас тогда в итальянской опере), француз, не знающий ничего по-русски, переводит нашего Гоголя под руководством г-на Тургенева. У Виардо, конечно, была художественно-критическая способность и, сверх того, чуткость в понимании поэзии чужих национальностей, что он и доказал превосходным своим переводом «Дон-Кихота» на французский язык. Господин же Тургенев понимал Гоголя, конечно, до тонкости; как все тогда, полагаю, любил его до восторга и сверх того сам был поэт, хотя тогда почти не начинал еще своего поэтического поприща. (NB. Он написал только несколько стихов, забыл каких, и, сверх того, повесть «Три

портрета» — произведение уже значительное.) Таким образом, могло бы что-нибудь и выйти. Замечу, что г-н Тургенев, должно быть, превосходно знает французский язык. И что же? Вышла из этого перевода такая странность, что я, хоть и предчувствовал заранее, что Гоголя нельзя передать по-французски, все-таки никак не ожидал такого исхода. Этот перевод можно достать и теперь — посмотрите, что это такое. Гоголь исчез буквально. Весь юмор, все комическое, все отдельные детали и главные моменты развязок, от которых и теперь, вспоминая их иногда нечаянно, наедине (и часто в самые нелитературные моменты жизни) зальешься вдруг самым неудержимым смехом про себя,— все это пропало, как не бывало вовсе. Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголе, судя по этому переводу; впрочем, кажется, ничего не заключили. «Пиковая дама», «Капитанская дочка», которые тоже были переведены тогда по-французски, без сомнения, тоже исчезли наполовину, хотя в них гораздо более можно было понять, чем в Гоголе. Словом, все характерное, все наше национальное по преимуществу (а стало быть, все истинно художественное), по моему мнению, для Европы неизвестное. Переведите повесть «Рудин» Тургенева (я потому говорю о г-не Тургеневе, что он наиболее переведен из русских писателей, а о повести «Рудин» потому, что она наиболее из всех произведений г-на Тургенева подходит к чему-то немецкому) на какой хотите европейский язык — и даже ее не поймут. Главная суть дела останется совсем даже неподозреваемою. «Записки же охотника» точно так же не поймут, как и Пушкина, как и Гоголя. Так что всем нашим крупным талантам, мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы совсем неизвестными; и даже так, что чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет и неизвестнее. Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс! Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей особый дар русских пред европейцами? Дар особенный, может быть, и есть, и если есть этот дар (равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у всех европейцев), то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает, хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное... Вернее же (скажут многие), что европейцы мало знают Россию и русскую жизнь, потому что не имели до сих пор еще и нужды

ее узнавать в слишком большой подробности. Правда, действительно в Европе до сих пор не было никакой особенной надобности слишком подробно нас узнавать. Но все-таки кажется несомненным, что европейцу, какой бы он ни был национальности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть в душу всякой другой европейской национальности, чем научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно изучавшие нас европейцы, для каких-нибудь целей (а таковые были), и положившие на это большой труд, несомненно уезжали от нас, хотя и много изучив, но все-таки до конца не понимая иных фактов и даже, можно сказать, долго еще не будут понимать, в современных и ближайших поколениях по крайней мере. Все это намекает на долгую еще, может быть, и печальную нашу уединенность в европейской семье народов; на долгие еще в будущем ошибки европейцев в суждениях о России; на их видимую наклонность судить нас всегда к худшему и, может быть, объясняет и ту постоянную, всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем непосредственном и гадливом ощущении, враждебность к нам Европы; отвращение ее от нас как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и — вечный, известный, давнишний приговор ее о нас: что мы вовсе не европейцы... Мы, разумеется, обижаемся и изо всех сил таращимся доказать, что мы европейцы... <...>

Я ужасно боюсь «направления», если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща; и как вы думаете, чего именно тут боюсь: а вот именно того, что цель-то направления не достигается. Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, — поверит ли он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления, выполненное единственно из художнической потребности и даже на сюжет всем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «направительное», — поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее для *его же целей*, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей), хотя бы с виду и походило на то, что называют «удовлетворением праздного любопытства»? Если даже люди ученые, по-видимому, еще не догадались об этом, то что же может происходить иногда в сердцах и в умах наших молодых писателей и художников? Какая бурда понятий и предвзятых ощущений? В угоду общественному давлению молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах, боится, что осудят «за праздное любопытство», давит, стирает образы,

которые сами просятся из души его, оставляет их без развития и внимания и вытягивает из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка! Одна из самых грубейших ошибок состоит в том, что обличение порока (или то, что либерализмом принято считать за порок) и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный и возможный путь к достижению цели! Впрочем, даже и на этом узком пути можно было бы вывернуться сильному дарованию и не заглохнуть в начале поприща; стоило бы вспоминать лишь почаще о золотом правиле, что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое. Есть очень и очень значительные таланты, которые так много обещали, но которых до того заело направление, что решительно одело их в какой-то мундир. Я читал две последние поэмы Некрасова — решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире. А ведь даже и в этих поэмах есть несколько хорошего и намекает на прежний талант г-на Некрасова. Но что делать: мундирный сюжет, мундирность приема, мундирность мысли, слога, натуральности... да, мундирность даже самой натуральности. Знает ли, например, маститый поэт наш, что никакая женщина, даже преисполненная первейшими гражданскими чувствами, приявшая, чтобы свидеться с несчастным мужем, столько трудов, проехавшая шесть тысяч верст в телеге и «узнавшая прелесть телеги», слетевшая, как вы сами уверяете, «с высокой вершины Алтая» (что, впрочем, совсем уже невозможно), — знаете ли вы, поэт, что эта женщина ни за что не поцелует сначала цепей любимого человека, а поцелует непременно сначала его самого, а потом уже его цепи, если уж так сильно и внезапно пробудится в ней великолдуший порыв гражданского чувства, и так сделает всякая женщина решительно. Конечно, замечание мое пустяшное, да и не стоило бы приводить, потому что и поэма-то так только написана, ну, например, чтобы к первому января отвязаться... Впрочем, г-н Некрасов все-таки уже громкое литературное имя, почти законченное, и имеет за собою много прекрасных стихов. Это поэт страдания и почти заслужил это имя. Ну, а новеньких все-таки жаль: не у всякого такой сильный талант, чтобы не подчиниться мундирной мысли в начале поприща, а стало быть, и уберечь себя от литературной чахотки и смерти. Что делать: мундир-то ведь так красив, с таким щитем, блестит... Да и как выгоден! то есть теперь особенно выгоден. (...)

(...) Наш жанр на хорошей дороге, и таланты есть, но его-то недостает ему, чтобы раздвинуться или расшириться. Ведь и Диккенс — жанр, не более; но Диккенс создал «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дедушку и внучку» в романе «Лавка древностей»; нет, нашему жанру до этого далеко; он еще стоит на «Охотниках» и «Соловьях». «Соловьев» и «Охотников» у Диккенса множество на второстепенных местах. Я даже думаю, что нашему жанру в настоящую минуту нашего искусства, сколько могу судить по некоторым признакам, «Пиквик» и «Внучка» покажутся даже чем-то идеальным, а сколько я заметил по разговорам с иными из наших крупнейших художников — идеального они боятся вроде нечистой силы. Боязнь благородная, без сомнения, но предрассудочная и несправедливая. Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли и, может быть, побольше образования. (...) Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность. У нас как будто многие не знают того. (...) А между тем также темы (почти фантастические) так же действительны и так же необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность.

Что такое в сущности жанр? Жанр есть искусство изображения современной, текущей действительности, которую перечувствовал художник сам лично и видел собственными глазами, в противоположность исторической, например, действительности, которую нельзя видеть собственными глазами и которая изображается не в текущем, а уже в законченном виде. (Сделаю поблеск: мы говорим: «видел собственными глазами». Ведь Диккенс никогда не видел Пиквика собственными глазами, а заметил его только в многоразличии наблюдаемой им действительности, создал лицо и представил его как результат своих наблюдений. Таким образом, это лицо так же точно реально, как и действительно существующее, хотя Диккенс взял только идеал действительности.) Между тем у нас именно происходит смешение понятий о действительности. Историческая действительность, например, в искусстве, конечно, не та, что текущая (жанр), — именно тем, что она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно психолога, и он объяснит вам, что если воображать прошедшее событие и особенно давно прошедшее, завершенное, историческое (а жить и не воображать о прошлом нельзя), то событие *непременно* представится в законченном его виде, то есть с прибавкою всего последующего его развития, еще и не прошедшего в тот именно исторический момент, в котором

художник старается вообразить лицо или событие. А потому сущность исторического события и не может быть представлена у художника точь-в-точь так, как оно, может быть, совершилось в действительности. Таким образом, художника объемлет как бы суеверный страх того, что ему, может быть, поневоле придется «идеальничать», что по его понятиям значит лгать. Чтобы избегнуть мнимой ошибки, он придумывает (случай бывали) смешать обе действительности — историческую и текущую; от этой неестественной смеси происходит ложь пуще всякой. По моему взгляду, эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах г-на Ге. Из своей «Тайной вечери», например, наделавшей когда-то столько шума, он сделал совершенный жанр. Всмотритесь внимательнее: это обыкновеннаяссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченныйссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, которого мы знаем. К Учителю бросились его друзья утешать его; но, спрашивается: где же и при чем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтобы из этой обыкновеннойссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колossalное?

Тут совсем ничего не объяснено, тут нет исторической правды; тут даже и правды жанра нет, тут все фальшивое.

С какой бы вы ни захотели судить точки зрения, событие это не могло так произойти; тут же все происходит совсем несоразмерно и непропорционально будущему. Тициан, по крайней мере, придал бы этому Учителю хоть то лицо, с которым изобразил его в известной картине своей «Кесарево кесареви»; тогда многое бы стало тотчас понятно. В картине же г-на Ге просто перессорились какие-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм. (...)

X РЯЖЕНЫЙ

(...) истинные происшествия, описанные со всею исключительностию их случайности,— почти всегда носят на себе характер фантастический, почти невероятный? Задача искусства — не случайности быта, а общая их идея, зорко угаданная и верно снятая со всего многоразличия однородных жизненных явлений. (...) для повествователя, для поэта могут быть и дру-

гие задачи, кроме бытовой стороны; есть общие, вечные и, кажется, вовеки неисследимые глубины духа и характера человеческого. <...>

Я узнал вас, г-н ряженый, по слогу. Видите ли, в чем тут главная штука: в том, что современные критики и хвалят, пожалуй, иногда современных писателей-художников, и даже публика довольна (потому что, что же ей, наконец, читать?). Но и критика понизилась уже очень давно, да и художники наши, большую частью, смахивают на вывесочных мальцов, а не на живописцев. Не все, конечно. Есть некоторые и с талантом, но большая часть самозванцы. Во-первых, г-н ряженый, у вас пересолено. Знаете ли вы, что значит говорить эссециями? Нет? Я вам сейчас объясню. Современный «писатель-художник», дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставлять купцов, мужиков и проч.), обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот номеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хоочут и хвалят, и, уж кажется бы, верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец или солдат в романе говорят эссециями, то есть как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре. Он, например, в натуре скажет такую-то, записанную вами от него же фразу, из десяти фраз в одиннадцатую. Одиннадцатое словечко характерно и безобразно, а десять словечек перед тем ничего, как и у всех людей. А у типиста-художника он говорит характерностями сплошь, по записанному,— и выходит неправда. Выведенный тип говорит как по книге. Публика хвалит, ну, а опытного, старого литератора не надуete.

И большую частью работа вывесчная, мальчная. Между тем «художник» считает себя под конец за Рафаэля; и не разуверишь его! Записывать словечки хорошо и полезно, и без этого нельзя обойтись; но нельзя же и употреблять их совсем механически. Правда, есть оттенки и между «художниками-записывателями»; один все-таки другого талантливее, а потому употребляет словечки с оглядкой, сообразно с эпохой, с местом, с развитием лица и соблюдая пропорцию. Но эссеционности все-таки избежать не может. Драгоценное правило, что выска-

занное слово серебряное, а невысказанное — золотое, давным-давно уже не в привычках наших художников. Мало веры. Чувство меры уже совсем исчезает. Взять и то, наконец, что наши художники (как и всякая ординарность) начинают отчетливо замечать явления действительности, обращать внимание на их характерность и обрабатывать данный тип в искусстве уже тогда, когда большую частью он проходит и исчезает, вырождается в другой, сообразно с ходом эпохи и ее развития, так что всегда почти старое подают нам на стол за новое. И сами верят тому, что это новое, а не преходящее. Впрочем, подобное замечание для нашего писателя-художника несколько тонко; пожалуй, и не поймет. Но я все-таки высажу, что только гениальный писатель или уж очень сильный талант угадывает тип *современно* и подает его *своеобразно*; а ординарность только следует по его пятам, более или менее рабски и работая по заготовленным уже шаблонам.

Я, например, не встречал еще ни одного священника во всю мою жизнь, даже самого высокообразованного, совершенно без всяких характерных особенностей разговора, относящихся до его сословной среды. Всегда хоть капельку, да есть что-нибудь. Между тем, если б дословно стенографировать его разговор и потом напечатать, то, пожалуй, у иного высокообразованного и долго бывшего в обществе священника и не заметите никакой особенной характерности. Нашему «художнику» этого, естественно, мало, да и публика к другому приучена. Простонародье, например, в повестях Пушкина, по мнению большинства читателей, наверно говорит хуже, чем у писателя Григоровича, всю жизнь описывавшего мужиков. Я думаю, и по мнению многих художников тоже. Не вытерпит он, что священник, например, говорит почти без всякой характерности, зависящей от сословия, от среды его, а потому и не поместит его в свою привесть, а поместит характернейшего. Таким образом, современного священника, при известных обстоятельствах и в известной среде, заставит говорить иногда как священника начала столетия и тоже при известных обстоятельствах и известной среде.

Священник Касторский начинает как и все, некоторое время почти совсем не напоминая собою известной среды.

Пока он хвалит художественность писателя Лескова, он говорит *как и все*, безо всякой характерности словечек и мыслей, обличающих сословие. Но так было надо автору: надо было его оставить в покое, чтобы литературная похвала вышла серьезнее, а порицание г-ну Недолину строже, ибо смешная и характерная фраза нарушила бы строгость. Но вдруг автор,

сообразив, что ведь, пожалуй, читатель и не поверит, что священник писал, пугается и разом бросается в типичности, и уже тут их целый воз. Что ни слово, то типичность! Из такой суматохи, естественно, выходит типичность фальшивая и непропорциональная.

Главный признак человека необразованного, но почему-нибудь принужденного заговорить языком и понятиями не своей среды,— это некоторая неточность в употреблении слов, которых он значение, положим, и знает, но не знает всех оттенков его употребления в сфере понятий другого сословия. (...)»

XI

МЕЧТЫ И ГРЕЗЫ

(...) Моя мысль — напомню ее — в том, что даже самый мелкий сельский школьный учитель мог бы взять на себя весь почин, всю инициативу освобождения народа от варварской страсти к пьянству, если б только того захотел. На этот счет у меня есть даже сюжет одной повести...

XII

ПО ПОВОДУ НОВОЙ ДРАМЫ

Эта новая драма — драма г-на Кишенского¹ «Пить до дна — не видать добра», который три последние акта мы решились поместить в этом 25-м номере «Гражданина» разом, несмотря на то что она заняла у нас чуть не половину места. Но нам хотелось не дробить впечатления, и, может быть, читатели согласятся, что драма стоит даже особого их внимания. Она написана для народного театра и написана с знанием дела, с отчетливостью и с несомненным талантом — а это главное, особенно теперь, когда почти не является новых талантов.

Это все типы фабричного быта «фабричного села» — чрезвычайно разнообразные и твердо очерченные. Сюжет налицо, и мы его подробно излагать не будем. Мысль серьезная и глубокая. Это вполне трагедия, и fatum ее — водка; водка вся связала, заполонила, направила и погубила. Правда, автор, как истинный художник, не мог не взглянуть еще шире на мир, им рисуемый, хотя и провозгласил в названии своей драмы, что тема его — «пить до дна — не видать добра». Тут, кроме того, отзывается и все чрезвычайное экономическое и нравст-

венное потрясение после огромной реформы нынешнего царствования. Прежний мир, прежний порядок — очень худой, но все же порядок — отошел безвозвратно. И, странное дело: мрачные нравственные стороны прежнего порядка — эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество — не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились; тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, почти ничего не осталось. Все это отзывалось и в картине г-на Кишенского, по крайней мере как мы ее понимаем. Тут все переходное, все шатающееся и — увы — даже и не намекающее на лучшее будущее.

Автор с энергией указывает на образование как на спасение, как на единственный выход; а покамест — всё захватила водка, все отравила и направила к худшему, заполонила и поработила народ. Мрачную, ужасную картину этого нового рабства, в которое вдруг впал русский крестьянин, выйдя из прежнего рабства, и рисует г-н Кишенский.

Тут два сорта типов — людей отживающих и новых, молодого поколения.

Молодое поколение знакомо автору. Типы, излюбленные им, указываемые им как на надежду будущего, составляющие сияние мрачной картины, вышли довольно удачны (что очень странно, ибо «положительные» типы почти совсем не удаются нашим поэтам). По крайней мере, Марья вышла безукоризненна. Иван, жених ее, удался несколько менее, несмотря на всю верность его изображения. Это парень молодой, красивый, смелый, грамотный, довольно видевший и узнавший нового, добрый и честный. Весь недостаток его в том, что автор немного слил его, слишком положительно его выставил. Отнесись он к нему поотрицательнее — и впечатление читателя вышло бы более в пользу излюбленного им героя. Правда, как тонкий художник, автор не миновал и самых невыгодных черт характера своего Ивана. Иван с сильной энергией и с сильными умственными способностями, но молод и заносчив. Он великодушно верует в правду и в правый путь, но правду смешивает с людьми и несправедливо требует от них невозможного. Он, например, знает иные законы, так что писарь «Леванид Игнатьич» побаивается прямо нападать на него, но слишком простодушно верует в свое знание, а потому не вооружен перед злом и не только не понимает опасности, но и не предполагает ее. Все это так натурально и вышло бы прекрасно, потому что так и должно ему быть. Мало того, автор не упустил множества самых симпатических

подробностей: Ваня, понимая всю мерзость негодяев (вдобавок еще враждебных ему), как молодой человек, свежий, сильный и которому все так еще любо на свете, недостаточно гнушается ими, с ними водится, с ними песни поет. Эта молодая черта привлекает к нему читателя чрезвычайно. Но, повторяем, автор слишком его полюбил и не решается ни разу посмотреть на него свысока. Нам кажется, что мало еще выставить верно все данные свойства лица; надо решительно осветить его собственным художническим взглядом. Настоящему художнику ни за что нельзя оставаться наравне с изображаемым им лицом, довольствуясь одною его реальною правдой: правды в впечатлении не выйдет. Немного бы, капельку лишь иронии автора над самоуверенностью и молодою заносчивостью героя — и читателю он стал бы милее. А то думаешь, что автор так и желал изобразить его совершенно правым во всем обрушившемсяся на него несчастии.

Другие лица молодого поколения — лица, погибшие чуть не с детства, «поколение пожертвованное», — вышли еще вернее «положительных» типов. Их два сорта: невиноватые и виновные. Тут, например, есть одна девочка (Матреша) — создание пожертвованное и несчастное, и, что ужаснее всего, вы чувствуете, что она не одна такая, что таких «несчастных» на Руси у нас сколько хотите, все деревни полны, бездна. Верность этого изображения заставит человека с сердцем и смотрящего в наше будущее сознательно — ужаснуться. Это поколение, поднявшееся уже после реформы. В первом детстве оно застало семью уже разлагающуюся и циническое, поголовное пьянство, а затем попало прямо на фабрику. Бедная девочка! Она развратничает, может быть, уже с двенадцатилетнего возраста и — почти не знает сама, что развратна. На рождество она с фабрики приехала на побывку в село и искренно удивляется, как может прежняя товарка ее, деревенская девушка Маша, предпочитать честь нарядам: «Во, Степан Захарыч, и видна необразованность! — говорит она.— Велика беда, что купец аль господин с девкой поиграет». Это говорит она с совершенным убеждением в истине и правоте своей, мало того: жалея Машу и деревенских; когда Маша отталкивает подлеца купчишку, она говорит прямо:

«Охота тебе с эвтим народом толковать! сипы! На ее таперича месте другая порадовалась бы! так бы их облистила, приняла б, и себе-то припент принесла и брату угодила!» И, наконец, когда эта несчастная подсыпает сонного зелья Маше, говорясь с купчишкой, чтоб в бесчувствии изнасиловать бедную честную Машу, и потом, когда лезет на печь

смотреть, заснула ли жертва, она делает все это злодейство не только без сознания зла, но вполне убежденная, что делает этой Маше, прежней подруге своей, добро, благодеяние, за которое та, спустя, благодарить будет. В пятом акте, в последней ужасной катастрофе — ни отчаяние Маши, отца ее, жениха, ни убийство, готовое совершиться, — ничто не смущает ее; да и сердца совсем у ней нет, — где же было развиться ему? Она пожимает плечами и говорит свое любимое слово: «необразованность!» Автор не забыл этого восклицания, доканчивая последнюю художественную черту этого типа. Трагическая судьба! человеческое существо обращено в какого-то гнилого червячка и совершенно довольно собой и жалким своим кругозором.

Тут среда, тут *fatum*, эта несчастная не виновата, и вы понимаете это, но тот другой тип — самый полный в драме — тип развратного, испитого, плюгавого фабричного парня, брата Маши, продающего потом сестру купчишке за триста рублей и за бархатную поддевку, — это, о, это уже тип из виновных «пожертвованного» поколения. Тут уже не одна среда. Правда, обстановка та же и та же среда: пьянство, разлагающаяся семья и фабрика. Но этот не простодушно, как Матреша, уверовал в разврат. Он не простодушно подл, как она, а с любовью, он в подлость привнес своего. Он понимает, что разврат есть разврат, и знает, что такое неразврат; но разврат он полюбил сознательно, а честь презирает. Он уже сознательно отрицает старый порядок семьи и обычая; он глуп и туп, это правда, но в нем какой-то энтузиазм плотоугодия и самого подлого, самого цинического материализма. Это уже не просто червячок, как Матреша, в которой все такое маленькое и иссохшее. Он стоит на деревенской мирской сходке, и вы чувствуете, что он ничего уже в ней не понимает и не может понимать, что он уже не от «мира сего» и с ним разорвал окончательно. Он продает сестру безо всякого угрызения совести и наутро является в отцовскую избу, на сцену отчаяния, в бархатной поддевке и с новой гармонией в руках. Есть пункт, в который он верит, как в всемогущество: это — водка. С самой тупой, но верной ухваткой он перед всяkim начинанием выставляет водку — горькую мужикам и сладкую бабам, уверенный, что все по его сделается и что водка все может. В нем, к полноте иронии, в изображении его, рядом с полным цинизма уживаются потребность прежних вежливых манер, исконной деревенской «учливости». Прибыв в село и еще не повидавшись с матерью, а засев в кабаке, он вежливо посыпает ей из кабака сладкой водки. Когда он и Матреша привлекают мать в кабак,

чтоб на свободе выманить ее позволение продать родную дочь купцу на изнасилование, он вежливо выставляет прежде всего сладкой водки и, указывая на место, говорит: «Пыжалте, мамынька-с», и та очень довольна «учливостью». Нашего автора упрекали иные, читавшие первый акт, за слишком уж *натуральный* мужицкий язык, утверждая, что он мог бы быть более литературным. Этой *натуральностию* языка и мы недовольны; все должно быть художественно. Но, прочтя внимательно, прочтя другой раз драму, вы невольно согласитесь, что невозможно было изменить язык, в иных ее местах, по крайней мере не ослабив ее характерности. Это «пыхалте, мамынька-с» не могло быть изменено: вышло бы не так подло. И заметьте, что эту гадкую, глупую пьющую старуху, свою «мамыньку», сынок уважает столько же, сколько свою подошву. (...)

Но самая характерная из всех сцен этой народной драмы — это третий акт, мирская сходка. Сильная мысль положена в этот эпизод поэмы. Эта сходка — это всё, что осталось твердого и краеугольного в народном русском строе, главная исконная связь его и главная будущая надежда его,— и вот и эта сходка уже носит в себе начало своего разложения, уже больна в своем внутреннем содержании! Вы видите, что уже во многом это лишь одна форма, но что внутренний дух ее, внутренняя вековая правда ее пошатнулась — пошатнулась вместе с зашатавшимися людьми.

На этой сходке происходит возмутительная неправда: вопреки обычью и закону, единственного сына вдовы (Ивана, героя драмы) отдают в солдаты вместо одного из богатой семьи тройников, и, что хуже всего, это делается сознательно, с сознательным неуважением к правде и обычью, делается за вино, за деньги. Тут даже и не подкуп; подкуп бы еще ничего; подкуп может быть преступлением единичным и исправимым. Нет, тут все почти выходит именно из сознательного неуважения к себе, к своему же суду, стало быть, и к собственному бытовому строю своему. Цинизм уже в том проявляется, что против обычая и древнего правила в начале сходки мир допускает попойку: «С угарцем-то будет лучше судить», — зубоскаля говорят предводители сходки. Половина этих собравшихся граждан давно уже не верит в силу мирского решения, а стало быть, и в необходимость его; почти считает за ненужную форму, которую всегда можно обойти. Можно и должно вопреки правде и ради первой текущей выгоды. Еще немного пройдет, и вычувствуете, что умники поновее сочтут всю эту церемонию за одну лишь глупость, за одно лишь ненужное бремя,

потому что мирской приговор, что бы там ни было, всегда состоится такой, какого хочет богатый и сильный мироед, заправляющий сходкой. Так уж лучше вместо пустой формалистики прямо и перейти под власть этого мироеда. А он еще вдобавок и водкой будет поить. Вы видите, что у большинства этих самоуправляющихся членов даже и предположение утратилось, что решение их могло бы быть произнесено вопреки воле сильного человека; все «ослабели»; ожирели сердца; всем хочется сладеньского, материальной выгоды. Все рабы уже по существу своему и даже представить не могут себе, как это можно решить для правды, а не для собственной выгоды. Молодое поколение тут присутствует и смотрит на дело отцов не только без уважения, не только с насмешкою, но как на устарелую дичь, именно как на глупую, ненужную форму, которая и держится-то всего лишь упрямством двух-трех глупых стариков, которых в добавок всегда купить можно. Так стоит и так ведет себя на сходке Степан, тот испитой, плюгавый, пропившийся паренек, который потом продает сестру свою. Все эти эпизоды этой мирской сходки удались автору. И главное, Степан почти прав в том, что не только не понимает ничего в мирской сходке, но что и нужным не считает ее понимать. Не мог же он не видеть, что на сходку уже допущено постороннее влияние купчишки, который положил себе погубить Баньку и отбить у него девку-невесту. Мир выпил его вино и допустил купчишкана приказчика сказать себе вслух, что без него, без купца-фабриканта, который фабричной работой им хлеб дает, «вся бы волость ваша по папертям церковным нищенствовала, а что если приговорят по его, то за это его степенство, купец, много штрафов народу простит». Дело, разумеется, разрешается в пользу купца, и Баньку отдают в солдаты.

Тут на сходке (весьма разнообразной лицами и характеристиками) являются два почти трагические лица; один — Наум Егоров, старик, уже двадцать лет сидящий на первом месте на сходке и заправляющий ею, и Степанида, мать Ивана. Наум Егорыч — старик разумный, твердый, честный, с высокой душой. На мирской приговор он смотрит с высшей точки. Для него это не просто сходка домохозяев в таком-то селе; нет, чувством он возвысился до понятия самого широкого: приговор хотя бы только сходки села его для него как бы часть приговора всей крестьянской России, которая лишь миром и его приговором вся держится и стоит. Но, увы, он слишком разумен и не может не видеть наступившего мирского шатания и куда с некоторого времени мир потянул. <...>

Не говорю, что тут совсем нет ошибок; но в этом произведении так много истинных достоинств, что ошибки эти почти ничтожны. Например, тон Маши в монологе четвертого акта, который заканчивает она прелестным, высоким душевным движением: «Теперь легко таково стало!» — этот тон немногого уж слишком певуч. Правда, это почти не монолог, а дума, чувство,— те самые думы и чувства, под влиянием которых у русских людей с сердцем и поэзией сложились и все песни русского народа. Поэтому и дума Маши, по существу в высшей степени верная и натуральная, могла выйти по форме своей несколько как бы лиричною. Но у искусства есть пределы и правила, и монолог мог бы быть покороче. Может быть, не совсем верен и тон Маши в конце драмы, уже после катастрофы: лучше было бы, если б она говорила капельку менее. Ужасные слова ее отцу гораздо бы сильнее выдались, если б тоже были покороче и не так певучи. Но все это поправимо, автор очень может исправить это во втором издании, и, повторяю, сравнительно с бесспорными достоинствами его произведения всё это почти мелочи. Хорошо еще, если б автор выбросил из своей драмы совсем появление в конце ее (и вовсе ненужное) добродетельного старика фабриканта, толкующего чуть ли не о наших «долгах народу». Появление его тем более нелепо, что это тот самый фабрикант, который закабалил весь окрестный люд, замучил произвольными штрафами и кормит работников гнилою пищею. Наконец, сам хозяин дома, Захар, вышел несколько неясен. Р собственном объяснении его, отчего он запил, есть как бы какая-то фальшивь, что-то необъясненное и натянутое; меж тем дело могло быть выставлено гораздо проще и натуральнее.

Впрочем, это только мое мнение, и я могу ошибиться, но уверен, что не ошибаюсь в твердых достоинствах этого серьезного произведения. Мне слишком приятно было поделиться моим впечатлением с читателями. Серьезнее ничего, по крайней мере, не появилось в нашей литературе за последнее и, может быть, довольно длинное время... <...>

XV

НЕЧТО О ВРАНЬЕ

<...> у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть на свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человека.

ческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. (...)

(...) Перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешностью преклоняется, даже не позволяя себе анализа; даже особенно не любит анализа в таких случаях. О, другое дело, если гениальное лицо сойдет с пьедестала или даже просто выйдет из моды: тогда нет строже русской интеллигенции к такому лицу, нет предела ее высокомерию, презрению, насмешке. Мы пренаивно удивляемся потом, если вдруг как-нибудь узнаем, что в Европе всё еще продолжают смотреть на сущедшее у них с пьедестала лицо с уважением и цениТЬ его по достоинству. Но зато тот же самый русский человек, хотя бы и преклонился перед гением в моде даже и без анализа, все-таки ни за что и никогда не признает себя глупее этого гения, пред которым сам сейчас преклонился, будь он разъевропейский. «Ну Гёте, ну Либих, ну Бисмарк, ну положим... а все-таки и я тоже», — представляется каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до того. (...)

(...) Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке, на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения, думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения, нет! Проснувшись на другой день поутру, он наверно сказал себе: «Э, черт, стоит ли начинать, коли никто не узнает!..» Это «стоит ли начинать», конечно, с одной стороны, намекает на такую способность уживчивости со всем чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы, что пред этими качествами бледнеет и гаснет даже все безграничное. Двухсотлетняя отычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как вы думаете?

Я убежден, что поручик в состоянии был дойти до таких столпов или до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей dame в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно

трагичен образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце и не знающей, что ее кавалера всего только час как высекли и что это ему совсем ничего. Ну а как вы думаете, если б она узнала, а предложение все-таки было бы сделано — вышла бы она за него (разумеется, под условием, что более уж никто не узнает)? Увы, непременно бы вышла!

А все-таки из числа Пироговых и вообще всех «безбрежных», кажется, можно исключить огромное большинство наших женщин. В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет нелгущих,— я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она *серьезнее*, чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтобы казаться. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?

XVI

ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФАЛЬШЕЙ

Некоторые из наших критиков заметили, что я в моем последнем романе «Бесы» воспользовался фабулой известного нечаевского дела¹; но тут же заявили, что собственно портретов или буквального воспроизведения нечаевской истории у меня нет; что взято явление и что я попытался лишь объяснить возможность его в нашем обществе, и уже в смысле общественного явления, а не в виде анекдотическом, не в виде лишь описания московского частного случая. Все это, скажу от себя, совершенно справедливо. До известного Нечаева и жертвы его, Иванова, в романе моем лично я не касаюсь. Лицо *моего* Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева. Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа, дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны — не Нечаев, а *Нечаевы*, и каким образом может случиться, что эти *Нечаевы* набирают себе под конец нечаевцев? (...)

(...) Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего «обновленного мира» и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейств-

ва; о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии, и проч. и проч.— всё это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то велиокудушия. Во всяком случае, тема казалась величавою и стоявшую далеко выше уровня тогдаших господствовавших понятий — а это-то и соблазняло. (...)

Чудовищное и отвратительное московское убийство Иванова, безо всякого сомнения, представлено было убийцей Нечаевым своим жертвам «нечаевцам» как дело политическое и полезное для будущего «общего и великого дела». Иначе понять нельзя, как несколько юношей (кто бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное преступление. Опять-таки в моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многочисленные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основных общественных убеждениях. Но у нас это более чем где-нибудь возможно, и именно в наше время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость,— вот в чем наша современная беда! (...)